

Международная конференция
«**XXIX Большие Банные чтения:**
«**Неимперская Россия: образы, идеи, практики**»»

(Журнал «Новое литературное обозрение», 7–9 апреля 2023 года)

DOI: 10.53953/08696365_2023_183_5_414

7–9 апреля состоялась Международная конференция «Банная чтения», которая, как и в прошлом году, прошла в онлайн-формате¹. На этот раз мероприятие было посвящено исследованию вопроса, возможна ли неимперская Россия и какие точки опоры можно отыскать для преодоления имперского сознания. Конференция была открыта вступительным словом основательницы издательства «Новое литературное обозрение» *Ирины Прохоровой*. Она отметила, что современные дискуссии в академической среде стремятся обозначить новые вызовы и заново сформулировать повестку дня. Разговоры об имперском и постколониальном ведутся в российском научном сообществе давно, однако, как считает Прохорова, сегодня акцент необходимо сместить с исследований имперского сознания и постколониализма на неимперские линии развития отечественной политической мысли и практик.

Первая секция конференции «История» была открыта докладом *Михаила Крома* (ЕУСПБ) «Идея общего дела и соборная практика в Московском государстве XVI–XVII вв.» Идея общего дела зародилась в Московском государстве на заре его становления, при Иване III, и была тесно связана с традицией Земских соборов, прообраз которых появляется уже в это время. Первые контуры идеи отображены в договоре Ивана III с братьями, князьями Борисом Волоцким и Андреем Углицким в 1473 году, в котором говорится о «своем» (государевом) и «христианском» деле, а в последующих документах речь идет о «нашем» (государевом) и «земском» деле. Упомянутое «земское дело» относится к земле, то есть к стране. Важно заметить, что в документах просматривается именно дуалистическая форма (в этом виде она прослеживается вплоть до XVIII века): понятие государева и земского дела сопутствуют друг другу, но не сливаются. Именно вместе они образуют полноту суверенной власти. В XVI веке формула «дело государево и земское» становится обиходной. Однако иногда упоминание «земских дел» отдельно от «государевых» можно найти в документах периода правления Ивана IV, например в «Царском указе об учреждении опричнины в летописном изложении» (1565). Эпоха Смуты становится периодом расцвета земского дела. Наконец, в эпоху царя Алексея Михайловича соборы оформляются в устойчивую институциональную практику.

В дискуссии после доклада *Павел Лукин* (Институт российской истории РАН / ШАГИ РАНХиГС, Москва) напомнил о существовании в историографии скептической точки зрения относительно земских соборов и земского дела в целом. Докладчик заметил, что такой взгляд зиждется на ограниченном представлении о практиках парламентов и характерен для старой традиции в историографии, восходящей к работам Б. Чичерина и В. Ключевского. Если обратить внимание не на образцовые примеры (как английский парламент), можно отыскать схожие практики в государствах того времени: например, французские Генеральные штаты так же, как и Земский собор, собирались нерегулярно и усиливались в кризисные моменты. Продолжив обсуждение, *Лоренц Эррен* (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) отметил, что вместо мифа,

1 Ссылки на запись трансляции конференции на сайте «Нового литературного обозрения» см.: <https://www.youtube.com/@nlobooks/streams>

согласно которому идею общего блага открыла эпоха Просвещения, сегодня в научной среде сформировалось четкое представление о существовании этой концепции в Средневековье. В ответ на это докладчик напомнил, что мысль об «общем деле» (как более бюрократической версии идеи общего блага) черпает истоки еще от Аристотеля и по всей Европе можно увидеть «бесконечные реинкарнации аристотелевской формулы»: парламенты во многих государствах переживают трансформацию и исчезают, появляясь через некоторое время в новой форме. Однако в России идея парламентаризма ушла на века и смогла возродиться нескоро, — заключил Михаил Кром.

Второй доклад секции «*Земская Россия против империи*» был представлен Кириллом Соловьевым (НИУ ВШЭ, Москва). Доклад начался с определения империи как семантической конструкции, обращаемой к историческому воображению. Соловьев отметил, что Российская империя утверждала свою власть прежде всего в столице и на окраинах, испытывая дефицит управления до конца своего существования: так, Тамбов и Рязань, например, оказывались дальше от внимания империи, чем Тифлис и Одесса. Неравномерность была характерной чертой в распределении как аппарата бюрократии (например, на Царство Польское приходилось в 1,5 раза больше чиновников, чем в центральных губерниях), так и расходов бюджета. Недостаток имперской власти компенсировался органами самоуправления — земствами. Они обладали властными полномочиями и были встроены в политическую систему, но при этом не относились к бюрократии. Докладчик отметил, что на рубеже XIX—XX веков сложилось три дискурса о земствах, один из которых господствовал в демократической (позднее леволиберальной) печати, другой был характерен для консервативной периодики и третий встречался у славянофилов. Первые два не рассматривали земство всерьез, а в трактовке славянофилов (не лишенной элементов мифологии) оно ассоциировалось с ценностями сотрудничества, естественности и органичности в противопоставлении привнесенному извне и подчиняющемуся бюрократическому началу. Обращаясь к социологической стороне вопроса, Соловьев отметил, что земства примерно на 80% состояли из активных помещиков, большинство из которых обладали высоким чином и часто проходили гражданскую службу, что особенно интересно отметить в свете противопоставления бюрократии и земства как государства и общественности.

Во время обсуждения доклада Ирина Прохорова спросила, ощущали ли российские элиты, участвовавшие в земских соборах, двойственность своей идентичности. Докладчик ответил, что такое случалось редко по причине неидеологизированности чиновничьего аппарата Российской империи, в результате которой чиновники воспринимали свою работу исключительно как профессиональную роль, будучи погруженными в широкий общественный дискурс (например, в 50—60-е годы XIX века среди российского чиновничества были очень востребованы работы Герцена). Сергей Абашин (ЕУСПб), в свою очередь, обратил внимание, что социологический портрет участников земств говорит о том, что неимперские практики были частью имперской системы. Дискуссию завершил вопрос Ирины Прохоровой о мифологизации земских собраний: можно ли говорить о значении земств, если участники земского движения были малочисленны и представляли собой исключение из общей практики? На это докладчик ответил, что значение имеет не столько количество участников земского движения, сколько их способность влиять на власть и общественное мнение, ведь именно из земского движения формировались активные члены партий, а впоследствии дум: вдохновляющий пример земского движения для предреволюционной России мог быть важен в силу своих качественных, а не количественных преимуществ.

Следующий доклад, на тему «*От имперской лояльности к договору с Советами и независимости: одна история мусульманских политических проектов*»

в начале XX века», представил Сергей Абашин. Докладчик описал историю возникновения и трансформации политических проектов 1910-х годов на примере Туркестана. Существенная разница в доступе к власти между колонистами и мусульманским населением, специфика туркестанских колонистов как изгнанников империи, взаимозависимое положение центра и периферии, создававшее ряд рисков для обеих сторон, — все это послужило причиной, по которой Туркестан оказался в авангарде революции 1917 года. На примере истории мусульманских активистов Сер-Али Лапина и Мустафы Шокая докладчик показал, как в предреволюционный и революционный периоды в этом регионе активизировалось производство проектов политического устройства, которые за двадцать лет прошли путь от идеи «вне-территориальной автономии» — сначала внутри империи (как автономии в отдельных институтах управления), а затем внутри республики, — к территориальной, превратившись, наконец, в проект независимого государства. Сергей Абашин заключил, что проекты того времени, хоть и не воплотились в реальность, но отпечатались в системе политического устройства: их следы можно обнаружить в истории советских автономий и в постсоветском пространстве.

В ходе дискуссии Лоренц Эррен отметил близость портрета чиновника поздней Российской империи, приведенного в докладе Кирилла Соловьева, и портрета Сер-Али Лапина — оба они испытывают кризис идентичности, оказываясь как преступниками имперской власти, так и ее жертвами, что во многом отсылает к опыту переживания идентичности колониальных активистов в Северной Африке, описанного у Франца Фанона. Докладчик отчасти согласился с возможностью выстроить аналогии с западным колониальным опытом, однако отметил специфику контекста Туркестана, связанного, во-первых, с особым положением местной колониальной элиты, ставшей «сборищем оппонентов Российской империи», и, во-вторых, с анти-колониальным языком, воспринятым социалистической революцией.

Секцию завершил Павел Лукин докладом «*Немосковские концепции “суверенности” в русских землях XV века*». Лукин исследовал процессы суверенизации политических образований на территории Средневековой Руси, которые не были связаны с укреплением Москвы и противопоставляли себя ей. Объектами его исследования стали Великое княжество Тверское и Новгородская республика. Докладчик отметил, что «суверенизационные тенденции» в Твери достигли апогея, когда Тверское княжество уже проиграло борьбу с Москвой за объединение русских земель — в XV веке. В «Слове Похвальном инока Фомы», написанном в 1440-х годах, Тверь позиционируется как «новый Израиль», а тверской самодержец сравнивается с Тиберием, римским императором. «Суверенизационные тенденции» в Новгороде были основаны не на монархической, а на республиканской почве. Чтобы отстоять это оригинальное для Руси политическое образование, новгородцы прибегают к визуальным образам: если фигурой суверена здесь выступает сам Великий Новгород, некое абстрактное политическое сообщество, то Святая София служит его визуальным воплощением.

Комментируя выступление, Михаил Кром выразил солидарность с Лукиным в его исследовательском подходе, отметив, что современная историческая наука выделяет формы суверенизации до Жана Бодена (1570-е годы), а французское слово, обозначающее суверена, используется уже в XIII веке. В случае же отечественного материала Кром обратил внимание на отношение к власти Орды в рамках процесса суверенизации — от бесконфликтного в начале до прямого противостояния в XV веке. В свою очередь Ирина Прохорова поинтересовалась, можно ли назвать тенденции политических образований Средневековой Руси коллективной имперскостью, ведь в них прослеживается стремление распространять свое влияние на огромные территории и завоевывать город за городом. Докладчик согласился с этим предполо-

жением и выделил схожие имперские черты и в Новгороде, и в Венецианской, и во Французской республиках, однако отметил, что такое определение империи, пожалуй, подразумевает слишком широкую трактовку. Так, если понимать под империей авторитарную структуру, которая занимается экспансией, ни Новгород, ни Венеция под такое определение не подойдут. Однако если рассматривать империю как большое государство, претендующее на глобальную роль и ведущее агрессивную внешнюю политику, то сюда можно отнести и Новгород, и Афинский морской союз, и Соединенные Штаты Америки. На что Прохорова заметила, что понимание того или иного государства как имперского зависит от оптики зрения: взгляд из центра и из периферии дают различное понимание того, какие практики устанавливает то или иное образование и в какой степени их можно отнести к имперским, что принципиально важно учитывать в исследованиях, посвященных имперскости.

Вторую секцию первого дня «Литература и культура. I» открыл доклад *Евгения Добренко* (Университет Ка' Фоскари, Италия) «*Советская многонациональная литература как имперский проект и как вызов империи*». В центре внимания исследователя находится парадокс: советская многонациональная литература, будучи во многом имперским проектом, сумела при этом создать не- и даже антиимперское пространство. По мнению Добренко, оно стало основополагающим для формирования национального самосознания на окраинах советской империи. По сути, советская власть в 1920-х годах заключила контракт с национальными элитами: национальная литература/культура взамен суверенитета. При этом, как считает Добренко, истинной целью таких национальных литератур было не допустить возникновения самостоятельных наций. Национальные литературы должны были стирать реальный опыт советских народов. Однако сталинизм дал всем народам СССР одну общую историю, которая стала для них травмой рождения и материалом для осмысления внутри национальных литератур. Добренко подчеркнул, что парадоксальным образом именно Москва формировала антиимперский дискурс, а национальные республики, со своей стороны, сохраняли память о преступлениях империи против местных культур. В то время как в национальных республиках культивировались комплекс виictimности и антиколониальные установки, в Москве на официальном уровне транслировался и поддерживался интернационалистский дискурс (с идеей национального разнообразия, взаимодействия и взаимообогащения). Все это, по словам исследователя, породило однонаправленный взрывной потенциал, который на волне либерализации привел к высвобождению энергии национализмов и впоследствии к распаду советской империи.

В ходе дискуссии *Илья Кукулин* (Амхерст-колледж, США) выступил с несколькими дополнениями к докладу Добренко. По его мнению, советская многонациональная литература строилась как имперский проект скорее на уровне политических элит, нежели на уровне самих авторов. Так, в числе людей, которые позднее создавали советскую многонациональную литературу, были и те, кто участвовал в ранних антиимперских проектах (см., например: «Еврейская антология. Сборник молодой еврейской поэзии» под редакцией В. Ходасевича и Л. Яффе, 1918). Также Кукулин справедливо заметил, что литературы советских национальных республик совсем необязательно строились исключительно на памяти о сталинских репрессиях, приведя в пример армянскую, в которой важное место (еще в советское время) занимала тема геноцида 1915 года. Постепенному же формированию национальных литератур республик СССР поспособствовал тот факт, что в советское время средневековые персидские и тюркские поэты (Низами Гянджеви, Алишер Навои и др.) были объявлены прародителями литератур Азербайджана, Узбекистана и т.д. С последней репликой Добренко согласился, добавив, что тогда были «национализированы» не только древние поэты, но и, например, ученые. *Кевин Платт*

(Пенсильванский университет, США) не согласился с утверждением о том, что периферия всегда была более репрессивной по сравнению с центром (приведя в пример латвийскую киноиндустрию). Добренко парировал: возможности разных республик проводить более либеральную политику в национальном вопросе были неравноценны. То, что было позволено балтийским республикам, было под строгим запретом, например, в Украине.

Вторым в секции был доклад *Елены Чхаидзе* (Рурский университет, Германия) «Начинаем всё сначала...?! О поиске национальной идентичности в грузинском кино 1980—2000-х годов». Чхаидзе начала с краткого обзора истории грузинского кинематографа, перечислив ключевые явления и события в развитии национальной киноиндустрии. Исследовательница отметила, что в грузинском кино 1920-х отсутствовали какие-либо цензурные рамки. Однако все кардинально изменилось с приходом Сталина, когда начал стабильно работать институт кинозаказов. Так, по инициативе Сталина была снята двухсерийная историческая драма «Георгий Саакадзе» (1942) — о герое, боровшемся за объединенное Грузинское государство. Фигура Великого Моурави стала аллегорией отца народа, а фильм М. Чиаурели встал в один ряд с «Александром Невским» и «Иваном Грозным» Сергея Эйзенштейна. Чхаидзе подчеркнула, что в то же время многие грузинские кинорежиссеры, которые в советскую эпоху работали с темами истории и культурной памяти, обращались к различным способам обхода цензуры (удаление опасных эпизодов, эзопов язык, мифы, юмор). Докладчица отметила, что в постсоветский период заново запустился ранее пройденный цикл развития грузинской киноиндустрии. Как и 1920-е, 1990-е были периодом без цензуры. В то время в грузинском кино появилась новая тема — поиск очередных проповедников и наставников народа, которыми в итоге становятся церковь и криминальный мир (фильмы «Спираль», «Они» и др.). Позднее, в 2000-х, в грузинскую киноиндустрию начало вмешиваться государство: снова возникло явление госзаказа. Кроме этого, в грузинском кино появляется новый маркер национальной идентичности — травма из-за военных конфликтов в Абхазии и Южной Осетии.

В ходе обсуждения доклада Илья Кукулин дополнил размышления Чхаидзе идеей о гибридной поликультурной идентичности грузинского народа, которая нашла свое выражение, например, в фильме Н. Джорджадзе «Робинзонада, или Мой английский дедушка» (1987). В свою очередь Евгений Добренко предложил подумать над тем, как позднесоветские и постсоветские фильмы работали на формирование грузинского национального самосознания внутри республики и на репрезентацию Грузии для советской и постсоветской аудиторий.

Третьим в секции выступил Кевин Платт с докладом «*Русскоязычные поэтические антиимперии: модель(-и) деколонизации*». По словам самого Платта, его доклад является своеобразным продолжением его же выступления «Поэзия как инструмент мобилизации 3.0» на Банных чтениях в 2016 году, которое было посвящено русской поэзии протеста. Тогда один из слушателей возразил исследователю: поэзия слишком маргинальная форма искусства, не способная мобилизовать оппозицию и бросить вызов дискурсивным силам государства. Однако спустя семь лет Платт, по собственному признанию, еще больше укрепился во мнении, что поэзия является отнюдь не самым слабым, но автономным родом литературы, независимым от рынка и власти. Как считает исследователь, именно автономное положение поэзии во многом обеспечило беспрецедентный антиимперский взрыв внутри современной русскоязычной поэзии. В рамках времени, отведенного на доклад, Платт успел рассказать о четырех стратегиях антиимперского письма (хотя таковых существует намного больше; как отметил сам исследователь, «стратегий много, а времени мало»). Первая стратегия, рассмотренная Платтом, — это «поэ-

зия, которая говорит в ответ империи». Пример такой стратегии — стихотворение Д. Кузьмина «Удобно ненавидеть Россию из Латвии...» (2018), которое артикулирует географическое пространство в терминах степеней свободы от российской империи. По словам Платта, в режиме прямого обращения к власти также существует поэзия Бориса и Людмилы Херсонских, В. Павловой, Д. Быкова.

Вторая стратегия антиимперского письма — это многоязычная гибридикация. Ранним примером ее, по мнению Платта, служат стихи С. Завьялова «Берестяные грамоты мордвы-эрзи и мордвы-мокши» (1997—1998). Такого рода поэзия осуществляет, по словам исследователя, децентрацию русского языка. Из более современных примеров многоязычной гибридикации Платт выделяет работу «Rus bala» деколониального поэта Еганы Джаббаровой, которая поднимает вопрос навязывания языка-гегемона другим языковым и культурным контекстам и традициям. Кроме того, к этой стратегии исследователь относит творчество Р. Ниязова, С. Тимофеева, В. Светлова, некоторые стихи Д. Расулевой.

Третья стратегия антиимперского письма — это освобождение русскоязычной поэзии от пост- или неоимперских рамок через «перформативный перевод». Примером такой стратегии выступает творчество участников текст-группы «Орбита» (давнего предмета штудий Платта), в том числе упоминавшихся выше Тимофеева и Светлова. По словам исследователя, в основе «перформативного перевода» лежит один простой трюк: русскоязычная поэзия «Орбиты» всегда идет в комплекте с латышским переводом в той или иной форме (параллельное чтение оригинального текста и перевода, проекция текстов и переводов на экран; книги-объекты; арт-инсталляции и т.д.).

Четвертая стратегия, о которой успел рассказать Платт, — объединение всех предыдущих аспектов антиимперского письма и их усложнение. В качестве примера такого вида стратегии исследователь привел драму-перформанс Кети Чухров «Not Even Dead» (2014), в которой делается сильный акцент на проблеме этичности любого перевода опыта народов имперских окраин на язык и реальность метрополий. По мнению исследователя, произведение Чухров заставляет задуматься, является ли перевод культурным мостом или всего лишь присваиванием чужой боли в собственных интересах.

Во время обсуждения доклада Сергей Абашин задал важный вопрос: можно ли рассматривать антиимперское письмо в полном отрыве от имперского, которое тоже получило развитие в последнее время, и какие стратегии используются сейчас в имперских стихах. Отвечая на этот вопрос, Платт признался, что специально не занимался современным имперским письмом, и вообще усомнился в том, что его можно отнести к настоящей поэзии. Однако Абашин привел в пример поэзию Ю. Мориц, давно пишущей на эту тему, и указал на то, что в имперской поэзии тоже есть свое заигрывание с другими языками и национальными меньшинствами. В итоге Платт согласился с тем, что имперская идея — это в том числе идея многообразия и многоязычия, и сказал, что обязательно поищет ответ на вопрос о языковой гибридности в имперском письме. Но на этом дискуссия вокруг доклада не завершилась. Уже в заключительной части всей секции к мысли Абашина вернулся Евгений Добренко: он уверен, что ключ к пониманию антивоенной поэзии лежит в чтении ее военного «зеркала»; они, несомненно, находятся в определенном диалоге и взаимодействии. Кроме этого, по мнению Добренко, важно обратиться непосредственно к опыту военной поэзии 1940-х, в которой, как кажется, можно найти пути к осмыслению современных поэтов, пишущих о войне. Например, работа с языком была так же важна для советской поэзии периода войны, как и для современной поэзии. Однако в ответ на это Кукулин подчеркнул, что противопоставление языков по принципу лингвистического национализма (например,

в «Были для детей» Сергея Михалкова) еще не есть рефлексия над языком — скорее это простая тематизация.

Следом за Платтом выступили *Илья Кукулин* и *Мария Майофис* (Амхерст-колледж, США) с совместным докладом «*Критика советской модели романа воспитания в двух книгах начала 1980-х годов об этнических депортациях*». В центре внимания исследователей оказались две повести: «Декада» (1979—1980) С. Липкина и «Ночевала тучка золотая» (1981) А. Приставкина. Оба произведения, в которых описывается взросление героя, Кукулин и Майофис предлагают проинтерпретировать как критически переосмысленный советский роман воспитания (см. «Как закалялась сталь», «Два капитана» и т.п.), который, как правило, был основан на упрощенной интерпретации западноевропейской традиции мелодраматического изображения «трудного детства» в целом и традиции Диккенса в частности. В текстах Липкина и Приставкина сами по себе лишения и страдания еще не гарантируют этическую состоятельность героев. Осуществленный авторами подрыв нарративных стратегий советского романа воспитания был направлен на «денормализацию», при которой примирение с опытом прошлого и восстановление утраченного заведомо невозможно. С опорой на исследования из книги «*A History of the Bildungsroman*»², Кукулин и Майофис приходят к выводу, что тексты Липкина и Приставкина оказываются близки к зарубежным образцам посттравматического/постколониального романа воспитания, но констатируют, что идеи писателей оказываются практически забыты и вытеснены в постсоветской литературе. В рамках же советской ситуации авторы решают проблему примирения враждующих сторон с помощью формы романа о становлении художника, поскольку единственным способом сохранения памяти о травме оказывается письмо о пережитом страшном опыте.

Последним в секции прозвучал доклад *Полины Барсковой* (Калифорнийский университет в Беркли, США) «*“Я был никудышный солдат”: гуманитарий на войне и после нее*» (точнее, как указала сама Барскова, — «*“Я был никудышный солдат”: мемористическая практика как стратегия критики имперской войны*»). В фокусе внимания исследовательницы — мемуарные тексты трех историков культуры: востоковеда И. Дьяконова, искусствоведа Н. Никулина и филолога Е. Эткинды (в рамках доклада Барскова сосредоточилась на анализе первых двух). По мнению Барсковой, главной целью этих мемуаров является критика и демифологизация официального советского нарратива о войне. Для военных мемуаристов оказывается очень важным метавопрос: как создать текст памяти, который сможет концептуально противостоять официальной картине мира и раскрыть ее историческую несостоятельность. Эти мемуары появились в эпоху застоя, когда формировался официальный миф о войне и происходила его монументализация. В своем докладе Барскова выделила несколько узловых тем, общих для анализируемых текстов (темы содружества, эмпатии, диалога, горизонтальных связей в условиях войны, критика имперскости и некомпетентности армейских начальников). Также для мемуаров Дьяконова и Никулина крайне важным оказывается языковой аспект войны: полигlossия; поиск языка и композиции, адекватных описываемым событиям; роль мата в военном языке.

После доклада Ирина Прохорова подняла вопрос о том, сложился ли в итоге определенный художественный язык описания военного опыта (по аналогии с лагерным нарративом Шаламова, Солженицына и др.). Барскова предположила, что этот язык не сложился, поскольку военный опыт был сразу перехвачен офици-

2 *A History of the Bildungsroman* / Ed. by S. Graham. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

альным нарративом, поэтому ее интересует корпус неофициального письма о войне, в котором минимален уровень самоцензуры, характерной для многих воспоминаний о том времени. В обсуждение вопроса включился Евгений Добренко, подчеркнув, что дискурс о войне был не просто перехвачен официозом — он стал формативным для советской нации, а лагерный нарратив оказался самым бесхозным, поскольку власть на него не претендовала. Илья Кукулин предложил обратиться и к другим текстам, в которых тоже минимален уровень (само)цензуры. Это дневники непосредственно военного времени, когда люди, как ни странно, писали гораздо свободнее (например, В. Гельфанд и В. Гроссман), а также мемуары о войне, написанные уже в постсоветскую эпоху (Л. Дугин). Вслед за Кукулиным Прохорова задалась вопросом, сложился ли вообще определенный нарратив о Второй мировой войне, подобный устоявшемуся дискурсу о холокосте. Мария Майофис высказала мнение, что, может быть, и хорошо, что такой всеобщий нарратив о войне не сложился и что есть возможность посмотреть на те события с разных точек зрения.

Второй день конференции начался с секции «Интеллектуальная мысль». Модератор *Татьяна Вайзер* (Дрезденский технический университет, Германия / «Новое литературное обозрение», Москва) напомнила слушателям, каким вопросам посвящена конференция, и предоставила слово первому докладчику, *Олегу Хархордину* (исследовательский центр «Res Publica» ЕУСПб). Его выступление «*Как смешать монархию с демократией? Дион Кассий и его рецепты в рамках теории классического республиканизма*», однако, касалось перечисленных вопросов косвенно: оно было о том, как в классической политической теории описывалось становление империи и какое значение может иметь это описание для понимания современных процессов. Итак, в классической теории отстаивалась идея смешения форм правления, и древние историки, стремясь оправдать империю, указывали на соединение в ней монархического и демократического начал. Это же соединение отмечал и Дион Кассий у Октавиана Августа, якобы давшего людям «разумную свободу». Дион по-своему периодизировал римскую историю, выделив «царство», «народоправство» (демократию) и — *dunasteia*, то есть время могущества сильных, пытающихся подчинить себе политическую систему. Этим формам правления Дион противопоставил «благую», стабильную монархическую форму.

Далее Хархордин остановился на способах совмещения монархии и демократии: если Аристотель писал о нераздельном слиянии этих форм в фигуре императора, то Дион (вслед за Полибием и Цицероном) — об их механическом присоединении друг к другу (позднее это назовут системой сдержек и противовесов). Наконец был поставлен вопрос: «Как Дион прочел бы российскую ситуацию?» В «попытке остранить настоящее с помощью исторического дискурса» докладчик рассказал историю о том, как «олигархи», стремясь добиться «стабильного положения одной группы элиты в эпоху гражданской смуты», назначили на пост императора «преторианца», со временем воплотившего в себе (с точки зрения власти) «весь механизм демократической поддержки принцепса», в результате чего страна вновь оказалась ближе к нестабильной *dunasteia*, чем к стабильному сочетанию монархии и демократии: «Есть Октавиан — есть Рим, нет Октавиана — нет Рима». Это, заключил докладчик, серьезный упрек системе, которую пытался описать и легитимировать Дион.

Вопросы были в основном объединены точкой зрения современной сравнительной политологии. Так, Ирина Прохорова предположила, что классическая политическая теория не способна охватить все современное разнообразие политических структур в Европе, а Татьяна Вайзер спросила, не зависит ли результат смешения монархии и демократии от того, какого типа демократия (мажоритарная,

переговорная или плебисцитарная) участвует в этом смешении. Хархордин ответил, что теория плебисцитарной демократии опиралась на феномен цезаризма (бонапартизма), тогда как классическая политическая теория ориентировалась на историю и идеологию Римской империи. Другими словами, применение современной теории демократии к прошлому — анахронизм; задача доклада была прямо противоположной (но тоже, заметим, весьма анахронистичной).

В конце дискуссии был задан еще один вопрос — об исследовании того, как «догоняющая» модернизация начинает мимикрировать под «модные тренды» монархизма и наработанные практики ломаются в угоду конъюнктуры (необходимости начать и вести войну и т.д.). Согласно Хархордину, подобных исследований немало, особенно на примере такой «республиканки на троне», как Екатерина II. Таким образом, обсуждение первого доклада плавно вывело участников на тему второго — о политическом модерне и Екатерине II как об акторе модернизации и становящегося политическим модерном. Впрочем, категорию догоняющей модернизации Виктор Каплун (ЕУСПб) в сообщении «*Российское Просвещение как критика деспотизма и классический республиканский проект*» отверг: по его мнению, российское Просвещение было органической частью общеевропейского. В тот период в России начинала складываться неимперская политическая современность, но процесс этот был искусственно прерван средствами государственного насилия в николаевскую эпоху. Однако традиция не исчезла, а ушла глубоко в «бэкграунд политической культуры», в том числе общественно-политического языка, который и сложился в эпоху Екатерины II и Александра I. Докладчик кратко рассказал о возникновении в России читающей публики, публичной сферы, общественного мнения, публичных интеллектуалов (ко второму их поколению принадлежали, в частности, декабристы) и публичной политики, подчеркнув, что традиция неимперской политической современности, связанная с классической традицией гражданского республиканизма, латентно присутствует в российской идентичности и может быть вновь актуализирована.

Комментируя выступление, Ирина Прохорова, во-первых, обратила внимание на парадокс: советская власть, пусть и путем апроприации, актуализировала пропаганду идей декабризма (как борьбы за свободу), тогда как в наше время декабристы дискредитированы (как бунтовщики). Таким образом, латентность характеризует идеи республиканизма скорее сегодня, нежели в советский период. Во-вторых, Прохорова отметила, что открытостью этой темы — борьбы за освобождение от деспотии — пользовалась послехрущевская интеллигенция, и спросила, почему эта традиция сошла на нет. Каплун в своем ответе выступил за глубокий пересмотр советской историографии декабристского движения, которое должно рассматриваться как широкое реформаторское движение, направленное на постепенное просвещение нации. Даже движение за «социализм с человеческим лицом» оставалось в плену ложного представления о декабризме как о политической оппозиции, на самом же деле она появится лишь в Николаевскую эпоху, а позднее ее будут представлять революционные демократы. Советская либеральная интеллигенция, однако, идентифицировала себя не с ними, а именно с «дворянской фрондой», что, как согласились собеседники, сослужило ей печальную службу.

Тему подхватил Лоренц Эррен в докладе «*Брут, убийца тиранов: чем римский республиканизм привлекал русскую аристократию*». По убеждению Эррена, декабристское движение было не чем иным, как революцией достоинства, а главный его мотив — чувство обиды из-за имперского деспотизма (сословная обида аристократов, достойных лучшего отношения) и национального унижения. Это был поиск способа восстановить честь, достоинство и (коллективное) самоуважение, который соответствовал общеевропейскому тренду — нарастающему неприя-

тию абсолютной монархии. Одним из воплощений деспотизма стал недолго правивший между Екатериной II и Александром I Павел I — деспот западного типа, «немец». Эррен показал, как поиск дворянской идентичности был связан со славянофильством и как, потерпев поражение в борьбе за достоинство, российская элита стала испытывать презрение к самой себе.

В ходе обсуждения доклада Ирина Прохорова отметила чрезвычайную устойчивость этой традиции, на что Олег Хархордин ответил: действительно, рождение национального самосознания в России из ресентимента — это классика социологии; он сослался на культуролога Л. Гринфельд, — вероятно, имея в виду ее книгу «Nationalism: Five Roads to Modernity»³ (1992).

Виктор Каплун, озадаченный термином «обида», уточнил, не было ли дело в требовании гарантий свободы, противопоставленной рабству, то есть нахождению в произволе другого. Эррен настоял на своем термине, напомнив, в частности, об унижительных для дворян-офицеров телесных наказаниях (неизвестных европейским аристократам). Отвечая на другие вопросы, он также подчеркнул разницу между Римской империей как государством (республикой) и монархией как частной собственностью: царь в России был частью государства, а монарх в Европе — над государством.

К более современному материалу обратился четвертый докладчик, *Тимур Атнашев* (МВШСЭН, Москва), поставивший в докладе «*Ненаше наше: конструируя хронотопы отступающей империи*» задачу «рассмотреть несколько швов имперской и неимперской сборки воображаемого пазла, или хронотопа, позволяющего объединить людей в символическое целое», а также формировать исторические эпохи. По предположению Атнашева, происходящие в России процессы соответствуют логике гомогенизации национального сообщества после фазы имперской экспансии (притом что переход России от империи к нации «не гарантирован и не предопределен»). Он обращается к текстам трех современных авторов националистического толка: А. Солженицыну, М. Ремизову и К. Крылову — и приходит к выводу, что все они не отвергают государственные границы как основание для сборки нации, воспринимают опыт СССР как катастрофу и апеллируют к европейским национализмам и что этнонациональный постимперский проект, предлагаемый тремя авторами, для сегодняшней России не актуален.

Обсуждая доклад, Ирина Прохорова обратила внимание на проглядывающее во всех трех рассмотренных проектах имперское начало, от которого их авторы вроде бы отмежевываются, и спросила, существуют ли «пазлы», способные примирить условных националистов и приверженцев гражданской нации. Докладчик ответил: хорошая новость в том, что «русское» не считается этнической категорией прежде всего самими русскими. Второй вопрос: нельзя ли рассматривать волну ностальгии по советскому с точки зрения снятия национального вопроса, конфликтов на национальной почве (при всем идеализме представлений о советской бесконфликтности)? Атнашев согласился с тем, что это один из мотивов, и именно поэтому националисты высмеивают советскость (как эфемерную общность), а официальный проект, осторожно относящийся к этнонационализму, играет с нею.

Олег Хархордин увидел в идее конструктора, собирающего конструкцию, «не что антиреспубликанское», поскольку она связана с насильной подгонкой сопротивляющегося материала под заданную форму, и напомнил о беньяминовской идее констелляции, не подавляющей (в отличие от мозаики) конституирующие ее элементы. Докладчик нашел это направление мысли продуктивным. В целом же

3 См. рус. пер: *Гринфельд Л.* Национализм: пять путей к современности / Пер. с англ. Т.И. Грингольц, М.Р. Вирозуба. М.: ПЕР СЭ, 2012.

участники признали дискуссию давно назревшей: хотя конкретные решения проблемы могут казаться неудовлетворительными, но она от этого не снимается.

Следующую секцию второго дня «Литература и культура. II» открыл *Андрей Зорин* (Оксфордский университет, Великобритания) докладом «*Толстой, империя и война*». По мнению исследователя, Толстой всегда занимал антиимперскую позицию: для него империя не была интеллектуальной проблемой, но всего лишь частным проявлением общего зла. В своих текстах писатель делал акцент на вечном конфликте биологического и морального, родового и личного внутри человека, столкновении полюсов, которое неизбежно приводит к войне и насилию. При этом Толстой проблематизировал разницу между захватчиками и защитниками своей земли: человек, который неразрывно связан с землей, кормясь ее плодами, казалось бы, имеет весомую причину встать на путь сопротивления, даже если этот путь связан с насилием. Инстинкт подталкивает защищать родную землю. Такая биологическая модель, нашедшая отражение в «*Войне и мире*», вписывается в схему органического романтического национализма. Однако эта модель органична только до тех пор, пока в человеке не включается осознание собственной личности, когда на смену биологическим законам приходят моральные установки. Как показывает Зорин, свою антиимперскую позицию поздний Толстой доводит до крайности. Развитие империи неизбежно приводит к национально-освободительным движениям, но для Толстого борьба с внешними угнетателями становится лишь отвлечением от более важного процесса внутреннего самоосвобождения. Собственная власть, по сути, ничем не лучше власти захватчика. Победив захватчика, люди снова оказываются в плену институтов власти, пусть и национальных.

Кевин Платт во время обсуждения доклада напомнил, что пропаганда в состоянии превратить практически любую культурную фигуру в символ патриотизма и в связи с этим поинтересовался, можно ли с помощью подбора определенных цитат слепить из Толстого великорусского имперского писателя. Отвечая на этот вопрос, Зорин выразил уверенность, что в нишу имперского (оправдание завоеваний и т.п.) поместить Толстого очень трудно (и почти никто не пробует это сделать — просто сложно найти подходящие цитаты). Другое дело, что, конечно, крайне упрощая общую картину, из Толстого легко вытащить идею человека как частички народа и защитника родной земли.

Модератор секции *Александр Скидан* («Новое литературное обозрение», Москва) спросил, является ли обозначенный в докладе «органицистский» этос оригинальной идеей Толстого. Зорин ответил, что в этом смысле писатель не очень оригинален: это общий романтический троп, идущий от Гердера и т.д. Оригинальность же Толстого состоит в том, что он скрепляет воедино идеи доведенного до предела пацифизма и органической привязанности к земле.

Затем с докладом «*Российские либералы как зеркало Российской империи*» выступил *Илья Калинин* (Принстонский университет, США). По его мнению, российская либеральная общественность, которая долгое время критиковала имперский характер политического режима в России, в то же время сумела присвоить и освоить образы (Российской) империи в форме эстетически привлекательного, этически убедительного, нарративно увлекательного и аффективно вдохновляющего продукта. Доклад Калинина представляет собой обзор наиболее показательных примеров имперскости в условной либеральной массовой культурной продукции 2000—2020-х годов. Как отмечает исследователь, имперские «симптомы» в работах российских либералов, как правило, отсутствуют на уровне эксплицитных идеологических высказываний, но при этом легко обнаруживаются на уровне грамматики, риторики и стилистики. Подобно кремлевскому, либеральный дискурс использует русскую культуру как политически корректный эвфемизм великой Российской

империи с ее устойчивым нарративом побед и достижений. В рамках доклада Калинин успел рассказать о цикле Б. Акунина «История Российского государства», серии книг А. Иванова об освоении Сибири и совсем кратко о телепроекте Л. Парфенова «Российская империя».

За докладом последовало оживленное обсуждение. И началось оно с критических стрел Ильи Кукулина, которого удивило, что Калинин называет анализируемых авторов либералами, причем типичными. По мнению Кукулина, их скорее можно отнести к этатистам (Акунин) или даже националистам-почвенникам (Иванов), которым просто довелось входить в публичный истеблишмент 2000—2010-х годов. Как заметил Кукулин, в этом контексте к либералам скорее относятся редакторы журнала «Ab Imperio», которые в своем учебнике «Новая имперская история Северной Евразии» занимаются как раз деконструкцией этатистской точки зрения, или, например, историк А. Дмитриев, критикующий миф непрерывности и преемственности российской истории.

Ирина Прохорова отметила, что стихийная имперскость в российской массовой культуре начала проявляться еще раньше, в эпоху 1990-х (когда, например, в Москве открывались магазины с названиями в духе «Империя света» или «Империя запаха»). Затем Прохорова задала вопрос напрямик: а как бы вы написали историю России? Калинин на это ответил, что точно бы не стал писать очередную историю Российского государства. По его мнению, необходимо в принципе сменить сам предмет разговора об истории России, и неэтактистские модусы описания (идея разрывов, а не преемственности; акцент на стране, а не государстве) представляются в этом плане наиболее актуальными. Калинин подчеркнул, что такие модусы описания важны сейчас не столько в академической среде, сколько (и прежде всего) в массовой культуре, медиа, просветительских проектах.

По мнению *Марка Липовецкого* (Колумбийский университет, США), дискуссия вокруг доклада определенно нуждается в одном важном уточнении, поскольку Калинин говорил скорее об историческом воображаемом. Истоки эстетически привлекательного либерально-имперского воображаемого, которое, по сути, является предметом исследования в докладе, можно проследить примерно с 1960-х — с экранизации «Войны и мира» и культа декабристов. Обсуждая фигуру А. Иванова, Липовецкий отметил, что у того наблюдается и противоположная тенденция — создание убедительных образов локальных культур. Калинин не согласился с этим замечанием: Урал у Иванова — это скорее не просто местная культура, а именно что «хребет России», метонимия общего единого целого.

Кевин Платт, в свою очередь, заметил, что даже когда Иванов концентрируется на проблеме локальных культур, в его текстах все равно происходит колониальное «изнасилование» местного населения. Кроме того, Платт добавил, что лакмусовой бумажкой для российского либерализма выступает отнюдь не далекая история завоевания Сибири, а отношение к недавним чеченским войнам и стремлению Татарстана обрести независимость в 1990-х. В этом вопросе «либеральный консенсус» как будто бы сходится с имперской политикой Кремля. Калинин понравилась выражение «либеральный консенсус», предложенное Платтом: по его словам, оно позволяет снять интонацию задетой либеральной идентичности, которую продемонстрировал Кукулин в самом начале обсуждения.

Третьим в секции выступил *Олег Лекманов* (Национальный университет им. Мирзо Улугбека, Узбекистан). Заявленная тема доклада — «*Иосиф Бродский как (анти)имперский поэт*» — на самом деле является названием его новой книги (почти дописанной). А само сообщение Лекманова представляет собой анализ одиозного стихотворения Бродского «На независимость Украины» (1992). Исследователь обратил внимание на то, что в стихотворении ни разу не встречается ме-

стоимение «я» — только «мы», и задается вопросом: кто же эти «мы», от лица которых проклинает украинцев Бродский? Анализируя поэтический текст, Лекманов приходит к выводу, что «мы» в стихотворении — это не представители «русской партии», не ура-патриоты, но, напротив, люди либеральных взглядов, казалось бы, ненавидящие советскую империю, но в то же время ставящие в вину Украине поспешный разрыв с Россией (и тем самым разоблачающие свое истинное имперское подсознание). Исследователь вписал инвективу Бродского в широкий контекст русскоязычной публицистики 1991—1992 годов и нашел там множество удивительных (почти дословных) переключек (особенно со статьей А. Минкина «Президентская рать» в журнале «Столица»). Помимо этого, по мнению Лекманова, стихотворение «На независимость Украины» продолжает антипочвенническую линию петербургских западников середины XIX века (В. Белинского и др.), которые в равной степени презирали и русскую провинцию, и украинскую.

В ходе дискуссии Андрей Зорин напомнил, что для Бродского крайне важна была тема еврейства, антисемитизма, Бабьего Яра, и это необходимо учитывать. Кроме того, Зорин не согласился с тем, что Бродского нельзя назвать имперским поэтом, и в доказательство привел разоблачающие цитаты из «Мексиканского дивертисмента» и «Пьяцца Маттеи». Также Зорин указал на то, что связывает доклад Лекманова с его собственным: и Толстой, и Бродский используют романтический образ земли, из которой рождается народ. А *Ирина Шевеленко* (Университет Висконсин — Мэдисон, США) поделилась воспоминанием о том, как слушала живую стихотворение «На независимость Украины» в авторском исполнении в Стэнфорде в октябре 1992 года. Шевеленко удивил тогда уровень эмоциональной задетости Бродского: для него расхождение русского и украинского нарративов было равноценно трагедии.

Четвертым в секции был доклад *Ильи Виноцкого* (Принстонский университет, США) «*Самостоянья щит*»: *Был ли Пушкин национал-словотворцем?*». Исследователь указал на то, что слово «самостоянье» встречается у Пушкина всего один раз — в вычеркнутой строфе болдинского стихотворения «Два чувства дивно близки нам...» (1830). Широкое распространение это слово обрело благодаря реконструкции стихотворения, сделанной филологом И. Шляпкиным в 1903 году. Впоследствии «самостоянье» получало самые разные интерпретации (в зависимости от убеждений толкователей) в диапазоне от «английского» чувства самоуважения (Б. Энгельгардт) до «чувства собственного духовного достоинства», включающего гордость за родину и армию (И. Ильин). Важно, что слово «самостоянье» было взято на щит сторонниками имперских идей, которые увидели в нем иконическое выражение пушкинского патриотизма и консерватизма. Однако, как утверждает Виноцкий, это слово, по всей видимости, даже не было придумано Пушкиным. Впервые «самостоянье» встречается в российской печати в поэме «Александроида» (1828) малоизвестного автора П. Свечина (в строчке «Что Росс — самостоянья щит?»). По мнению докладчика, Пушкин вряд ли читал Свечина (несмотря на интерес к одическим славянизмам в тот период). Как отмечает Виноцкий, в 1820—1840-х годах слово «самостоянье» имело ярко выраженный политический оттенок (в значении государственной независимости) и широко использовалось в текстах, связанных со славянским национальным движением. Однако, по версии исследователя, «самостоянье» в болдинском отрывке, который тесно связан с «Моей родословной», является выражением не имперского национального, но скорее индивидуального, дворянско-рыцарского чувства. На это, например, намекает часть фамильного герба, которую Пушкин зарисовал в нижней части рукописного листа.

В ходе обсуждения доклада *Кирилл Ошоват* (Университет Висконсин — Мэдисон, США) удивился тому, что Виноцкий противопоставил наследственно-

дворянский тип собственности имперскому порядку, хотя корпус поздних текстов Пушкина, кажется, свидетельствует об обратном. Однако, по мнению докладчика, Пушкин в анализируемом болдинском отрывке говорит именно о своих феодальных правах, о личной связи с историей, что было тогда для поэта более актуальным.

Предпоследним в секции выступил Яков Клоц (Хантерский колледж, США) с докладом «*Тамиздат: империя или мультикультура?*», который был посвящен точкам пересечения тамиздата (как совокупности книг и периодических изданий, опубликованных за границей на русском языке) с литературами и институциями других культур. Как утверждает Клоц, на протяжении всего своего существования, начиная с основания А. Герценом Вольной русской типографии в Лондоне в 1850-х годах, тамиздат продолжает оставаться трансконтинентальным и транскультурным феноменом, осмысляющим российский имперский дискурс во всех его многочисленных изводах. В своем докладе исследователь рассмотрел кейсы тамиздатских переводов на русский язык произведений Д. Джойса и Д. Оруэлла. Кроме этого, Клоц рассказал об участии различных западных и восточноевропейских издательств, институций и отдельных агентов культурного производства в публикации текстов из-за железного занавеса на русском языке.

Во время обсуждения доклада Олег Лекманов предложил детальнее рассмотреть зоны двусмысленности, когда автор остается на родине, но при этом публикуется за рубежом (как было, например, в случае с Мандельштамом и его сборником «*Tristia*», изданным в Берлине). Ирина Прохорова, в свою очередь, призналась, что не очень поняла, что именно понимается под имперскостью в докладе. По ее мнению, здесь происходит некоторое смешение разных феноменов — публикации в тамиздате того, что запрещено внутри страны и публикации текстов откровенно антиимперской направленности. Например, тексты первой волны эмиграции в большинстве своем точно не были антиимперскими. Клоц сказал, что понимает империю и имперское сознание в очень расширительном смысле, и в принципе тамиздат не всегда равен эмигрантской литературе.

Секцию завершил Марк Липовецкий докладом «*Архипелаг АГ: Позднесоветский андеграунд как децентрализованная модель культуры*». Исследователь предложил рассмотреть позднесоветский андеграунд в качестве возможного прототипа, прообраза новой руссофонной культуры XXI века — децентрализованной, свободной от государства и антиимперской по своей логике и структуре. По Липовецкому, наиболее убедительная концепция позднесоветского андеграунда как альтернативной модели культуры разработана Энн Комароми в книге «*Soviet Samizdat: Imagining a New Society*»⁴. Согласно Комароми, андеграунд строился вокруг сверхценной категории правды. Разделяя эту концепцию, Липовецкий тем не менее попытался проблематизировать ее и обозначить ограничения, противоречия и потенциальные перспективы андеграундной модели культуры.

Опираясь на работы Н. Митрохина и А. Леденевой, исследователь сравнил положение эстетического андеграунда внутри официальной культуры с положением теневой экономики внутри советской системы. По мнению Липовецкого, и андеграунд, и «серая зона» неформальной власти, подрывая основы идеологии и государственности, все равно оказываются тесно связанными с официальными институтами, которые используются ими в качестве фасада. Понимание тесных связей андеграунда с советской подцензурной культурой делает особенно важным обсуждение вопроса о его антиимперском потенциале. Например, андеграундные группы были, как правило, локализованы, привязаны к местной культуре с ее тра-

4 Komaromi A. *Soviet Samizdat: Imagining a New Society*. Ithaca, NY: Cornell University Press, Northern Illinois University Press, 2022.

дициями и особенностями, автономны, но при этом не изолированы друг от друга. Для понимания альтернатив имперской парадигме важно понимать, что карта андеграунда — это далеко не только Москва и Ленинград, но еще и Киев, Львов, Харьков, Рига, Таллин, Вильнюс, Минск, а также Свердловск, Новосибирск, Горький. Также Липовецкий подчеркнул важную разницу между российским и остальными «республиканскими» андеграундами. Если в республиках общим знаменателем был пафос национального возрождения, направленный против русификации и партийного диктата из центра, то в России этот национальный заряд в итоге породил так называемую русскую партию, а также ряд подпольных групп, ставших инкубатором ультраконсервативных идеологий. По мнению Липовецкого, уберечь андеграундную эстетику от агрессивной правой риторики может только институт политически заряженной критики, главным принципом которой станет деконструкция позиции власти.

Обсуждение доклада началось с вопроса Олега Лекманова о том, что является элементарной единицей измерения в разговоре об андеграунде — большие группы или все-таки авторы, которые не вписывались ни в какие круги (такие, как Венедикт Ерофеев и Лев Рубинштейн). Липовецкий согласился, что большие модели несколько упрощают общую картину, но не стал отказываться от выбранной оптики — смотреть на андеграунд с политической точки зрения: объединение оказывается важнее изолированности (особенно в современной культурной ситуации).

Илья Кукулин заметил, что в неподцензурной культуре Москвы и Ленинграда не было такого уж большого интереса к другим культурам внутри СССР или Восточной Европы (если говорить об антиимперском потенциале андеграунда). По мнению исследователя, необходимо вспомнить и реактуализировать важную черту позднесоветского андеграунда — отстаивание независимости культуры от государства. Липовецкий подчеркнул, что такая позиция на самом деле работает на нынешний культурный консенсус: «реальность нас не касается — мы занимаемся вечным и прекрасным». Любой культурный жест всегда несет в себе политический смысл, и об этом не стоит забывать. Ирина Прохорова предложила пример по-своему политического жеста — уход представителей позднесоветского андеграунда в дворники и истопники. Липовецкий указал на то, что этот отказ от сотрудничества с властью обернулся отказом вообще от какой-либо политической рефлексии в пользу абстрактных философских поисков. В продолжение дискуссии Кевин Платт остроумно заметил, что когда ты сидишь в подполье, империя может легко уйти из поля зрения. А время, когда андеграунд вышел наружу, — это конец 1980-х, и именно там, считает Платт, нужно искать ресурсы для построения чего-то нового сейчас. Таким ресурсом, по его мнению, были проекты утопического космополитизма и многоязычия в Латвии.

В заключение Липовецкий сказал, что сейчас мы стоим перед необходимостью заново перестроить конструкцию русской культуры, которая смогла бы существовать в глобальном измерении. Своим докладом он хотел пригласить к обсуждению опыта позднесоветского андеграунда как архипелага независимых сообществ, взаимодействующих друг с другом на равных условиях. Критическое осмысление этого опыта, по мнению Липовецкого, может оказаться крайне продуктивным для создания новой руссофонной культуры.

Последний день конференции открылся секцией «Публичная сфера». В первом докладе *«Столица без двора: имперское и неимперское в московской публичной сфере середины XIX века»* Михаил Велижев (Университет Гренобль-Альпы, Франция) раскрыл сюжет, затронутый им ранее в монографии о «чаадаевском деле»⁵,

5 Велижев М. Чаадаевское дело: идеология, риторика и государственная власть в николаевской России. М.: Новое литературное обозрение, 2022.

о роли Москвы в развитии публично-дискуссионного пространства Российской империи того времени. Внимание докладчика привлекла «нехарактерная для своего времени» реакция графа А.Г. Строганова на решение монарха о судьбе ректора Московского университета А.В. Болдырева, пропустившего в печать чаадаевскую статью. Император принял решение не только отстранить Болдырева от должности, но и лишить его всех постов без надлежащей пенсии. Оспаривая этот вердикт, Строганов апеллирует к закону. По его убеждению, дело касалось репутации монархического принципа, именно поэтому он ссылаясь на совесть и присягу, надеясь на правоту императора. Он стремился навязать императору специфический взгляд на соотношение воли монарха и формального права, где монарх оказывается ограниченным созданной по его распоряжению правовой системой. Источником, подкреплявшим мысль Строганова, как предполагает докладчик, мог стать в то время изданный европейский политико-философский бестселлер «Демократия в Америке» Алексиса де Токвиля (1835), неоднократно упоминавшийся графом в личной переписке. Формирование альтернативных политических сценариев стало не результатом дефектов репрессивной власти и упущений, а следствием функционирования ее внутренних механизмов, заключил свой доклад Михаил Велижев.

Во время дискуссии Татьяна Вайзер уточнила, можно ли в терминологии Нэнси Фрейзер классифицировать московскую публичную сферу того времени как «слабую публику», поскольку у ее участников не было рычагов оказания влияния на принятие политических решений и даже амбиций заполучить их. Докладчик согласился с таким предположением, но отметил, что несмотря на отсутствие рычагов влияния, амбиции влиять на принятие решений у участников обсуждений были и, вопреки широко распространенному мнению о периферийности московской публичной сферы того времени, она была в авангарде идей и заложила представления о России и ее развитии, которые стали актуальны во второй половине XIX века.

Андрей Зорин отметил, что актуализация публичной сферы в первой половине XIX века в России действительно имела беспрецедентный характер, но важно переключить внимание на поиск новых элементов, обусловивших специфику публичной сферы того времени, а не собирать «новую конструкцию из уже известных элементов» (так, московская фронда описана еще Грибоедовым, а о губернаторском неповиновении прямым императорским указам известно из истории Алябьева и Радищева в Тобольске). Докладчик отчасти согласился с этим высказыванием, отметив, что Голицын и Строганов не похожи на тех, кого обыкновенно относят к московской фронде. Особенность же московской публичной сферы рассматриваемого периода, по его мнению, заключается в возникновении автономного режима Москвы, установленного ее градоначальниками, что делает происходящие в Москве дебаты следствием самой системы управления и воли высокопоставленного московского чиновничества.

Следующий доклад, «*Вместе и врозь на исходе “Великой войны”*»: от сборника «*Отечество*» (1916) до национальных съездов (1917)», был представлен Александром Дмитриевым (Федеральная политехническая школа, Швейцария). Основным предметом исследования Дмитриева являются взгляды публицистов и мыслителей, которые до 1914 года выступали как эксперты в области «национального вопроса» с левой стороны политического спектра. Большинство авторов, занимавшихся национальной проблематикой до 1917 года, искренне стремились отойти от сепаратистских установок, поддерживаемых противниками Антанты во время войны (таких как «Союз освобождения Украины» или «Лига нерусских народов России»). Ситуация заметно изменилась после свержения монархии в конце февраля 1917 года. Весна, лето и осень 1917 года стали временем организационного

формирования различных национальных движений на территории империи, включая мусульманские съезды, Центральную Раду в Киеве или белорусских активистов в Петрограде и Москве. До проведения Учредительного собрания и захвата власти большевиками федералистские и конфедералистские установки преобладали, однако в этой волне политической мобилизации новое поколение, часто имеющее опыт фронтовых действий, уже заметно доминировало над представителями академической и писательской среды. Намеченные в этот период намерения и декларации (которые являются скорее следами движения истории, чем указателями пути) впоследствии стали актуальны в контексте рождения и упадка советского культурного и политического федерализма в 1920-х и конце 1980-х годов.

Комментируя доклад, Татьяна Вайзер задалась вопросом, вступали ли национальные движения, стремящиеся к автономии, в отношения друг с другом, были ли выстроены между ними связи. Александр Дмитриев обозначил два локуса дебатов: один вокруг Союза автономистов (с поляками во главе), чьи заседания регулярно посещали представители украинского, азиатских и кавказских народов, и второй, инициированный толстыми журналами наподобие «Вестника Европы» и даже педагогического «Вестника воспитания», которые становились лабораториями, своеобразными площадками для совещаний по национальному вопросу.

Следующий доклад, «*Филиал, или Политическая анатомия масштаба*», представила Галина Орлова (НИУ ВШЭ, Москва). Исследовательница рассмотрела выстраивание ядерной стратегии СССР через перспективу филиалов, создаваемых в закрытых городах атомной промышленности в конце 1940-х — начале 1950-х годов. Такой подход позволяет обнаружить более широкий набор риторик, институциональных решений, местных запросов, иерархий, позиций, инициатив и эмоциональных реакций, исключенных официальным атомным нарративом. Докладчица показала, что «возгонка масштаба», стремление к научно-техническому превосходству и гегемония являлись характерными чертами научно-технических программ и образования на протяжении всего советского периода. Однако в условиях серьезных технологических, экономических и политических изменений эта конфигурация неоднократно проявляла свою уязвимость. Предпочтение крупным (энергетическим) проектам перед малыми (например, программам по изотопам) сильно увеличило инфраструктурные риски для отрасли в послечернобыльский период и затруднило переход атомщиков к рыночным условиям в первое десятилетие после распада СССР. В заключение доклада Орлова отметила, что непроработанность и неосознанность существующих иерархий в российской науке сохраняется и сегодня, консервируя имеющиеся проблемы.

В ходе дискуссии Татьяна Вайзер спросила, как по мере возвращения ядерной риторики в официальный дискурс, элементы идеологии проникают в атомную индустрию, которая с момента распада СССР с идеологической основы перестраивается на коммерческую. Докладчица заметила, что идеология из Атомного проекта не уходила почти никогда. Однако можно сказать, что серия рамочных заявлений власти о международном противостоянии начиная с 2010-х годов были считаны как возвращение больших, амбициозных атомных инфраструктурных программ. Другая особенность заключается в том, что гражданский интерфейс перестает быть обязательным в проектах и разработках, чего в публичном поле нулевых годов не было.

Заключительный доклад секции «*Прошу считать меня членом общества*»: *Советские добровольные общества памятников и рефлексия об историческом прошлом в 1960-е — 1980-е гг.* представила Екатерина Болтунова. В основу сообщения был положен материал совместной работы Болтуновой с Галиной Егоровой — анализ состояния и динамики развития движений в защиту культурно-

исторического наследия, появившихся в 1960-е годы в СССР. Процесс создания сообществ носил «условно добровольный характер», что определило его границы и возможности, однако эти ограничения варьировались от региона к региону. На примере Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) и Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры (БДООПИиК) исследовательницы показали, как характер управления обществами влиял на выстраивание их отношений с органами власти. Если российское движение было идеологически скованным, а управление им осуществлялось заместителями властных ведомств, то белорусское общество имело больше автономии, представляло собой отдельный орган с регламентированной коммуникацией с другими структурами. Идеологизация последнего отмечается в заметно меньших масштабах, а механизм влияния на принятия решений властями был обусловлен возможностью напрямую обращаться к главе компартии БССР. Если в 1960-х годах в ряде региональных обществ РСФСР проявляла себя живая инициатива, то уже в семидесятых повестка обсуждений становится «выжженным полем», подчиненным идеологическим и прагматическим задачам компартии. В заключение докладчица отметила, что изучение подобных структур особенно плодотворно в диахронной перспективе. Так, например, риторика региональных обществ РСФСР 1960-х и конца 1980-х имеет ряд аналогий: в них наблюдается всплеск интереса к дореволюционной истории, наряду со стремлением говорить о будущем. Учитывая региональные особенности развития этих движений, большой интерес вызывает процесс выработки антисоветских и национальных риторик.

В дискуссии после доклада Ирина Прохорова предположила, что отмеченный рост интереса к дореволюционной истории может быть связан с нарастающим разочарованием в советском проекте. Александр Дмитриев поинтересовался, почему у советской власти не возникло идеи провести централизацию таких обществ и почему она не боролась с проявлениями локальных автономий. Докладчица предположила, что проблема в первую очередь носила технический характер: поскольку сложившиеся движения были по-разному интегрированы в административную структуру на уровне республик и регионов, потребовалось бы провести масштабную работу по унификации, в чем, вероятнее всего, просто не было необходимости, поскольку задача самой системы заключалась в имитации ее низового и добровольного характера. Ирина Прохорова добавила, что для советской власти это также мог быть вопрос денежных затрат, поскольку для создания всесоюзной структуры потребовалось бы выделение финансирования, а подобные сообщества не имели для власти достаточно высокого приоритета.

Заключительная, шестая секция конференции (вторая секция третьего дня) была вновь посвящена интеллектуальной мысли. Ее модератор Ирина Прохорова начала с краткого предисловия, в котором напомнила, что возникшие тридцать лет назад Банные чтения, как и сам журнал, были нацелены на интеграцию российской научной мысли в международную академическую среду. И по ее словам, грустная ирония в том, что та давняя задача, вроде бы решенная, вновь актуальна. Открыл секцию доклад *Александра Эткин*да (Центрально-Европейский университет, Австрия) и *Владимира Костюшева* (общественный фонд «Музей Г.В. Старовойтовой», Санкт-Петербург), посвященный наследию Галины Старовойтовой — не только выдающегося политика, участвовавшего в создании первого правительства постсоветской России, но и, как напомнил Эткинд, крупного и оригинального ученого-гуманитария и социального мыслителя. Ее тексты середины 1990-х годов, продолжил докладчик, содержат в себе уникальный научно-политический проект, преодолевавший деполитизированную традицию российской социальной науки. Так, Старовойтова применяла к России «деколонизирующую эпистему» (близкую

Эткинду, одна из самых известных книг которого — «Внутренняя колонизация: имперский опыт России» (М., 2013)), отстаивала равенство народов и равноценность этнических культур и даже задумывалась над проблемами самоопределения наций, выходя за пределы этнографии — в политическую философию. Костюшев поделился собственными впечатлениями о Старовойтовой и о работе с ее научными и политическими текстами, в которых она, в частности, проявила себя последовательной сторонницей федерализма.

По окончании доклада Кевин Платт поднял широкий вопрос о трансляции научного знания в политическую деятельность, припомнив, сколь многие представители интеллигенции поддержали «неоимпериалистический» ввод войск в Чечню, которому Старовойтова отчаянно противостояла. В ответ Эткинд выразил сожаление, что политики не руководствуются наукой, по крайней мере не этнографией, а в лучшем случае экономикой; политология тогда едва зарождалась, а филологи и историки отказались от полноценного политического участия; словом, Старовойтова была одинокой фигурой, ее предвидения и предостережения отличались от того, что делали коллеги вокруг. Лоренц Эррен, продолжая разговор о 1990-х, обратился к докладчикам «как к свидетелям эпохи» с вопросом: «Есть ли политики, не считающие народ не готовым к демократии, а парламент — неподходящим местом для дискуссий?» Эткинд ответил, что именно таким политиком и была Старовойтова, «враг многих кумиров демократической общественности».

Доклад *Михаила Ямпольского* (Нью-Йоркский университет, США) «*Неопределенная страна: между нацией и империей*» представлял собой исторический анализ вопроса о том, является ли Россия нацией или империей. Исследователь кратко проследил, как Российская империя «стала невероятным, химерическим соединением разнородных этносов, языков, культур и укладов, державшимся на деспотии монарха», а затем, опираясь на лекцию Э. Ренана «Что такое нация?» (1882), показал, что Россия так и не стала ни нацией (продуктом органичного смешения составляющих ее народов в общей культуре в результате забвения ими своих корней), ни империей (признающей разнородность своих территорий и своего населения и поддерживающей эти различия). Самым близким аналогом возникшей в России модели нации, целиком детерминированной государством, Ямпольский считает концепцию *stato totalitario* Муссолини.

Утверждение, что Российская империя (в отличие от других империй) не видела внутри себя различий, было в ходе дискуссии оспорено Александром Эткиндом (призвавшим не упускать из виду «огромный пласт оппозиционной русской литературы, который на самом деле победил»); он заметил, что открытием упомянутых различий занимались оппозиционные политики и мыслители, которых ссылали в Сибирь. Докладчик возразил: русская культура попыталась (в подражание европейским) мыслить себя как национальную — в отсутствие русской нации. В то же время у этнографии были и имперские истоки, особенно после революции, когда государству понадобилось понять, кем же оно управляет.

Андрей Зорин отметил, что идея органического народа была заимствована у Германии, но если там для его «конструкторов» народом были «мы», то в России им были «они» (а не сама размышляющая о народе элита). Мысль продолжил Кирилл Осоват: во многом это вопрос о русском крестьянстве, которое, в соответствии с диагнозом Т. Шанина, осталось нераспознанной политической силой. Докладчик согласился с важностью диагноза: русская интеллигенция создала миф о крестьянине и всегда чувствовала пропасть между ним («невнятным») и собой, и именно с этим связано недоверие демократов к народу, о котором упоминалось в обсуждении предыдущего доклада. Согласно же реплике Ирины Прохоровой (согласившейся на исследования И. Шевеленко), провал нацистского строительства в России

был связан не с «невнятной», а с тем, что крестьянство не получило полных гражданских прав; сегодня же «народ» — это даже не крестьянство, а значит, и вообще мифическое понятие.

Темпераментно прочитанный Кириллом Осповатом доклад «*Литература как демократия: пролегомены к актуальной филологии*» хотя и пересекался с уже затронутыми на конференции темами (интеллектуальная история антиимперских движений, методология будущих гуманитарных исследований), все же несколько вышел за ее общие рамки. В центр внимания был поставлен вопрос: каковы основания для необходимой после катастрофы «протестной, эмансипаторной филологии», или «эмансипаторного знания о русской литературе имперского периода»? Именуя эту новую филологию также политической, актуальной и демократической, докладчик призвал оттолкнуться от имперского литературного канона, от концепции культуры как империи и от понимания литературы как атрибута империи, противопоставив всему этому «исторический материализм» В. Беньямина, видевшего в имперском каноне насилие, варварство, трофеи триумфаторов. Итак, продолжил Осповат, «активистская историческая эпистемология» Беньямина созвучна с русской традицией истории литературы, в которой есть народническая струя; в подтверждение цитировались слова М. Гаспарова — о филологии, Л. Гинзбург — о лирике, Н. Огарева — о связи поэтической формы с гражданской свободой и «лирической перестройке общественных отношений».

Доклад вызвал бурную дискуссию, что не удивительно: представленные в нем вопросы касались самопонимания, идентичности ее участников. Андрей Зорин обратил внимание докладчика на то, что литература затрагивает не только гражданские темы, но и любовные, и экзистенциальные, и спросил: что «актуальной филологии» делать с ними? Осповат ответил, что он, как и Беньямин, понимает политику широко: «И на смерть, и на любовь можно смотреть с эмансипаторной точки зрения». Марк Липовецкий поддержал докладчика: «любовь — метафора свободы», а форма — «носитель эмансипаторной семантики». Но все же спросил: чем отличается линия «Огарев — Гинзбург — Адорно» от линии, лежавшей в основе марксистского литературоведения? По мысли Осповата, там линию интерпретировали как традицию партийности (ужасавшей Беньямина), а здесь речь идет о низовой, анархистской демократии.

Илья Виноцкий похвалил убедительный и воодушевляющий доклад и поинтересовался: а что мы можем сделать на практике? Докладчик объяснил: мыслить литературную форму (и нашу интерпретацию формы) вместе с формой политической, как предлагали Огарев и др. Михаил Ямпольский задался вопросом о смысле слова «политический» и высказал мнение, что признание инаковости литературой не должно «схлопываться в политическое братство»: литература во многом противостоит политике, и политизировать ее, ставя на «партийно-политические» рельсы, не нужно, на что докладчик повторил: партийность — ловушка, а утопическая модель солидарности может быть помыслена как политическое действие. А в ответ на размышление Кевина Платта о том, что литература — это мощный инструмент, создающий миры и в модерное время имеющий разное отношение к политическим институтам, и что необходимо понимать сложность этого инструмента и политической борьбы за его применение, Осповат ответил, что этим он и занимается. Дискуссию подытожила Ирина Прохорова: идея «политической филологии» воспринимается старшим поколением болезненно ввиду понятных ассоциаций; восстановление советского вульгарного дискурса не будет плодотворным, но как обезопасить себя от легкого скатывания к нему? Осповат назвал своими ориентирами А. Зорина и М. Чудакову и еще раз повторил, что избегает партийного литературоведения.

Завершилась секция докладом Ирины Шевеленко «*Антиимперская рефлексия революционной эпохи (1900 — 1910-е годы)*». По словам докладчицы, в указанный период под неимперской Россией понималась такая Россия, где институты представительной демократии были бы жизнеспособны, а автократический режим невозможен. В подтверждение этого тезиса были приведены и прокомментированы цитаты из публицистики, относящейся к философскому идеализму и художественному модернизму, «выбранные не по признаку партийности». Реагируя на события 1904—1905 годов, о банкротстве бюрократии, достоинстве народа и необходимости парламентской демократии писали С. Булгаков, Г. Штильман, П. Новгородцев, Н. Минский. В феврале 1917 года лейтмотивом становится освобождение национальной культуры. Шевеленко приходит к выводу, что при всей анахроничности языка обсуждавшиеся тогда проблемы поразительно схожи с сегодняшними. Рассмотренные в докладе авторы понимали: «Автократическое правление — краеугольный камень той конструкции, которая делает невозможной неимперскую Россию, и вопросы территориальности, этноконфессионального разнообразия и культурного развития невозможно даже поставить, пока сохраняется автократическая конструкция власти».

Слушатели доклада обратили внимание на повторяющуюся в цитатах тему территорий. Так, Ирине Прохоровой показалось, что авторам легче было отказаться от самодержавия, чем от тех или иных земель; к ней присоединился Олег Лекманов, поинтересовавшийся, насколько эта озабоченность уникальна для России. Докладчица ответила, что мы живем в мире незыблемых границ, и сосредоточенность на существующих границах понятна: они обсуждаются внутри государств, но не между ними. Александр Эткинд, в свою очередь, задумался над тем, не следует ли историкам идей сосредоточиться на идее фетишизации территории.

В заключение конференции Ирина Прохорова поблагодарила участников и выразила сожаление о том, что по понятным причинам не все приглашенные ученые смогли или сочли возможным присоединиться, и надежду на восстановление прерванных академических связей.

Василиса Борзова, Александр Гришин, Владислав Третьяков